

**«Поговорим о странностях любви»  
1991**

Москва, «Весть», 1991. Стихотворения и одноимённая проза – о любимых книгах и стихах. 117 стр., тираж 1000.

ОБЛОЖКА, ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ, АННОТАЦИЯ:

<http://www.larisamiller.ru/pogov.html>

**Содержание**

**СТИХИ**

*В электронном варианте книги воспроизведены стихи, не вошедшие в предыдущие сборники: «Безымянный день» (1977), «Дополнение» (1977), «Земля и дом» (1986)*

**1. По белому белым**

Итак, место действия – дом на земле,  
Первое первого, первое  
Перебрав столетий груды,  
Жить сладко и мучительно,  
Мелким шрифтом в восемь строк  
Предъявите своих мертвецов:  
И в черные годы блестели снега,  
Так пахнет лесом и травой,  
И проступает одно сквозь другое.  
Давайте отменим вселенскую гонку.  
– Откуда ты родом,  
Что за жизнь у человечка:  
Среди деревьев белых-белых  
Телячьей нежности. Позор  
Тот живёт – обиду копит,  
Тёмный холст, а слева свет.  
Сколько напора и силы, и страсти  
На влажном берегу, на пенистой волне,  
Благие вести у меня.  
Такие творятся на свете дела,  
То облава, то потрава.  
Прогорели все дрова,  
Но душе нельзя без корма.  
Одно смеётся над другим:  
И в городе живя, оплакиваю город,  
Срывание масок, сдиранье бинтов  
По какому-то тайному плану

**2. Судьбы картинки**

До чего регламент жёсткий.  
Всё серьёзно – каждый шаг, каждая улыбка,  
Мы одержимы пенъем.

Чёрный клавиш. Ночная тоска.  
Идет безумное кино  
О том и об этом, но только без глянца,  
I. Земля да небо. Третий – лишний.  
II. А начинал он в до мажоре,  
Пахнет мятой и душицей.  
Жалко Ниневию. Господи, жалко.  
И речи быть не может  
Но в хаосе надо за что-то держаться,  
В тишине тону с головкой,  
Мы у вечности в гостях  
Встань, Яшка, встань. Не умирай. Как можно!  
Безумец, что затеял?!  
Однажды выйти из судьбы,  
Не знаю кем, но я была ведома  
I. Как будто с кем-то разлучиться  
II. Ещё пролёт, ещё ступени,  
Роза, жасмин и шиповник, и роза....  
Сплю ногами к полю,  
А я ещё живу, а я ещё дышу,  
Не бывает горше мифа,  
Шуршат осенние дожди,  
А лес в шелку зелёном  
Всё исчезнет – только дунь –  
ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ

## *1. По белому белым*

\* \* \*

Итак, место действия – дом на земле,  
Дорога земная и город во мгле.  
Итак, время действия – ночи и дни,  
Когда зажигают и гасят огни  
И в зимнюю пору, и летней порой.  
И, что ни участник, то главный герой,  
Идущий сквозь сумрак и свет напролом  
Под небом, под Богом, под птичьим крылом.

1983

\* \* \*

Первее первого, первее  
Адама, первенец, птенец,  
Прими, не мучась, не робея  
Небесной радуги венец.

Живи, дыши. Твоё рождение,  
Как наваждение, как обвал.  
Тебе – снегов нагромождение,  
Тебе – листвы осенней бал,  
И птичьи песни заревые,  
И соло ливня на трубе,  
И все приёмы болевые,  
Что испытают на тебе.

1987

\* \* \*

Перебрав столетий груды,  
Ты в любом найдёшь Иуду,  
Кровопийцу и творца,  
И за истину борца.  
И столетие иное  
Станет близким как родное:  
Так же мало райских мест,  
Те же гвозди, тот же крест.

1985

\* \* \*

Жить сладко и мучительно,  
И крайне поучительно.  
Взгляни на образец.  
У века исключительно  
Напористый резец,  
Которым он обтачивал,  
Врезался и вколачивал,  
Врубался и долбил,  
Живую кровь выкачивал,  
Живую душу пил.

1985

\* \* \*

Мелким шрифтом в восемь строк  
Про арест на долгий срок,  
Про ежовщину и пытки,  
Про побега две попытки,  
Про поимку и битье,  
Про дальнейшее житье

С позвоночником отбитым –  
Сухо, коротко, петитом.

1987

\* \* \*

**"Bring out your dead"**

("Выносите своих мертвецов")

*Клич могильщика во время эпидемии чумы.  
Англия 14 век.*

Предъявите своих мертвецов:  
Убиенных мужей и отцов.  
Их сегодня хоронят прилюдно.  
Бестелесных доставить нетрудно.  
Тени движутся с разных концов.  
Их убийца не смерч, не чума –  
Диктатура сошедших с ума.  
Их палач – не чума, не холера,  
А неслыханно новая эра,  
О которой писали тома.  
Не бывает ненужных времён.  
Но поведай мне, коли умён,  
В чём достоинство, слава и сила  
Той эпохи, что жгла и косила  
Миллионы под шелест знамён.

1988

\* \* \*

И в черные годы блестели снега,  
И в черные годы пестрели луга,  
И птицы весенние пели,  
И вешние страсти кипели.  
Когда под конвоем невинных вели,  
Деревья вишневые нежно цвели,  
Качались озерные воды  
В те черные, черные годы.

1989

\* \* \*

Так пахнет лесом и травой,  
Травой и лесом...

Что делать с пеплом и золой,  
С их легким весом?  
Что делать с памятью живой  
О тех, кто в нетях?  
Так пахнет скошенной травой  
Июньский ветер...  
Так много неба и земли,  
Земли и неба...  
За белой церковью вдали  
Бориса – Глеба...  
Дни догорают, не спеша,  
Как выйдут сроки...  
Твердит по памяти душа  
Все эти строки.

1987

\* \* \*

И проступает одно сквозь другое.  
Злое и чуждое сквозь дорогое,  
Гольная правда сквозь голый муляж,  
Незащищенность сквозь грубый кураж;  
Старый рисунок сквозь свежую краску,  
Давняя горечь сквозь тихую ласку;  
Сквозь безразличие жар и любовь,  
Как сквозь повязку горячая кровь.

1988

\* \* \*

Давайте отменим вселенскую гонку.  
Давайте прокрутим назад кинолентку.  
Пусть нас обратно к истокам снесет,  
Покуда пространство совсем не всосет,  
Заставив в безвременьи ждать воплощенья.  
Нам нету пощады и нету прощенья.  
Нам было пространство и время дано,  
А мы показали плохое кино.  
За то, что плохое кино показали,  
Достойны того, чтобы нас наказали.  
Коль ленты не в силах придумать иной,  
Пусть длится безмолвие в вечность длинной.

1988

\* \* \*

– Откуда ты родом,  
Идущий по водам  
Дорогою вешней?  
– Я – местный, я – здешний.  
Я – здешний, я – местный,  
Я – житель небесный,  
Шагающий к дому  
По небу седьмому.

1988

\* \* \*

Что за жизнь у человечка:  
Он горит, как Богу свечка.  
И сгорает жизнь дотла,  
Так как жертвенна была.

Он горит, как Богу свечка,  
Как закланная овечка  
Кровью, криком изойдет  
И утихнет в свой черед.

Те и те и иже с ними;  
Ты и я горим во Имя  
Духа, Сына и Отца –  
Жар у самого лица.

В толчее и в чистом поле,  
На свободе и в неволе,  
Очи долу иль горе –  
Все горим на алтаре.

1980

\* \* \*

Среди деревьев белых-белых  
Пансионат для престарелых.  
Он свежевыбелен и чист.  
И валится печальный лист,  
Под стариковские галоши.  
И нету неизбывней ноши,  
Чем ноша отшумевших лет.  
И нынешний неярк свет  
Для старости подслеповатой.

Прогулка для нее чревата  
Простудой. И «который час»  
Спросил меня в десятый раз  
Старик. Не все ль ему едино  
Начало дня иль середина,  
Когда свободен от сетей,  
И графиков, и всех затей  
Мирских, когда уже на стыке  
Времен и вечности, где лики  
Всегда незримые для нас,  
Должно быть, различает глаз.  
И что там крохотная стрелка?  
Она бесшумно, как сиделка,  
Хлопочет до скончанья дня,  
По циферблату семеня.  
До самого времен скончанья  
И ближе с вечностью венчанье.  
И память ходит по пятам.  
А я еще покуда там,  
А я еще покуда с теми  
И там, где жестко правит время,  
Настырно в темечко клюет  
И задержаться не дает.  
И миги, яркие, как вспышки,  
Слепят и жгут без передышки.  
И тесен мне любой насест.  
Охота к перемене мест  
Еще покуда мной владеет.  
И кто-то обо мне радеет,  
Из ярких листьев тропку вьет  
И яркий свет на землю льет.  
Дорога или бездорожье,  
Но лист горит, как искра Божья,  
Преображая все кругом,  
Убогих и казенный дом.

1979

\* \* \*

Телячьи нежности. Позор  
Все эти нежности телячьи,  
Все эти выходки ребячьи,  
От умиленья влажный взор.

Спешу на звук твоих шагов,  
Лечу к тебе и поневоле  
Смеюсь от счастья. Не смешно ли  
Так выходить из берегов?

Неужто столь необорим  
Порыв в разумном человеке?  
...Но не стыдились чувства греки,  
Стыдился чувств брутальный Рим,

Который так и не дорос  
До той возвышенной морали,  
Когда от счастья умирали,  
Топили горе в море слёз.

1985

\* \* \*

Тот живёт – обиду копит,  
Тот обиду в водке топит.  
Ну, а этот топит печь.  
И о нём сегодня речь.  
Грусть-тоска, коль бит и мучим,  
Служит топливом горячим,  
И любая из обид  
Очень весело горит.  
И горит беда лихая,  
Ярким светом полыхая,  
И танцующий огонь  
Греет душу и ладонь.  
Греет тело он и душу,  
Обитаемую сушу.  
День текущий и былой  
Пахнет солнцем и золой.  
И таит в себе, как древо,  
Свет и жар для обогрева.

1981

## ЖИВОПИСЬ

Тёмный холст, а слева свет.  
Слева слабое свеченье.  
Там счастливого стеченья  
Обстоятельств свежий след.  
Слева краешек небес,  
Еле видимая дверца,  
Слева трепетное сердце,  
Вечно ждущее чудес.

1985



\* \* \*

Сколько напора и силы, и страсти  
В малой пичуге невидимой масти,  
Что распевает, над миром вися.  
Слушает песню вселенная вся.  
Слушает песню певца-одиночки,  
Ту, что поют, уменьшаясь до точки,  
Ту, что поют на дыханье одном,  
На языке, для поющих родном,  
Ту, что живет в голубом небосводе  
И погибает в земном переводе.

1987

\* \* \*

На влажном берегу, на пенистой волне,  
Среди дремучих трав, под градом звёзд падучих,  
В бушующей листве, в ее шумящих тучах –  
В мирах для бытия приемлемых вполне  
Живу, незримый груз пытаюсь передать,  
Неведомо кому шепчу: «Возьмите даром  
Мой праздник и Содом, тоску и благодать,  
Мороку и мороз, граничащий с пожаром».  
Неужто мой удел качать колокола  
Во имя слов чудных и нечленораздельных,  
Не лучше ли молчать, как глыба, как скала,  
О радостях земных и муках беспредельных...  
Вот ветер пробежал по чутким деревьям,  
И сладостно внимать их скрипу и качанью...  
О, Боже, научи единственным словам,  
А коль не знаешь как, то научи молчанью.

1988

\* \* \*

Благие вести у меня.  
Есть у меня благие вести:  
Ещё мы целы и на месте  
К концу сбесившегося дня;

На тверди, где судьба лиха  
И не щадит ни уз, ни крова,  
Ещё искать способны слово,  
Всего лишь слово для стиха.

1980

\* \* \*

Такие творятся на свете дела,  
Что я бы сбежала в чем мать родила.  
Но как побегу, если кроме Содома  
Нигде ни имею ни близких, ни дома.  
В Содоме живу и не прячу лица.  
А нынче приветила я беглеца.  
«Откуда ты родом, скажи Бога ради?»,  
Но сомкнуты губы и ужас во взгляде.

1981

\* \* \*

То облава, то потрава.  
Выжил только третий справа.  
Фотография стара.  
А на ней юнцов орава.  
Довоенная пора.  
Что ни имя, что ни дата —  
Тень войны и каземата,  
Каземата и войны.  
Время тяжело виновато,  
Что карало без вины,  
Приговаривая к нетям.  
Хорошо быть справа третьим,  
Пережившим этот бред.  
Но и он так смят столетьем,  
Что живого места нет.

1985

\* \* \*

Прогорели все дрова,  
И пожухла та трава,  
На какой дрова лежали.  
И дощатые скрижали  
Разрубили на куски  
И пустили в ход с тоски —  
Тяжело без обогрева.  
Польхай, святое древо,  
Хоть теперь — увы, увы, —  
Не сносить нам головы.  
Но святыня прогорает,

А никто нас не карает.  
Жизнь глухая потекла:  
Ни скрижалей, ни тепла,  
Лишь промозглый путь куда-то...  
Может, он и есть расплата?

1980

\* \* \*

Но душе нельзя без корма.  
Коль ничтожна пищи норма  
И дана сухим пайком,  
Всё, что нужно для прокорма,  
Сыщет, бедная, тайком.  
И найдёт, подобно птице,  
Два глотка живой водицы,  
Вечной радости зерно,  
Вечной истины крупы  
Там, где глухо и черно.

1986

\* \* \*

Одно смеётся над другим:  
И над мгновеньем дорогим,  
Далёким, точно дно колодца,  
Мгновенье новое смеётся.  
Смеётся небо над землёй,  
Закат смеётся над зарёй,  
Заря над тлением хохочет  
И воскресение пророчит;  
Над чистотой смеётся грех,  
Над невезением успех,  
Смеётся факт, не веря бредням...  
Кто будет хохотать последним?

1981

\* \* \*

И в городе живя, оплакиваю город,  
Который смят катком,  
Бульдозерами вспорот.  
И стоя у реки, оплакиваю реку,  
Больную сироту, усохшую калеку.

Оплакиваю то, что раньше было рощей.  
Оплакиваю лес, затравленный и тощий.  
На родине живя, по родине тоскую,  
По ней одной томлюсь, её одну взыскую.

1989

\* \* \*

Срывание масок, сдиранье бинтов  
Под скрежет разболтанных старых винтов.  
Во зло ли всё это, во благо?  
Куда ты летишь, колымага?  
Давно мы загнали своих лошадей.  
Во всём, говорят, виноват иудей.  
Кого мы ещё не назвали  
Из тех, кто виновен в развале?  
Летит колымага, а в ней мордобой.  
Виновен картавый, виновен рябой.  
Трясут и мотают телегу,  
Летящую в пропасть с разбегу.

1989

\* \* \*

По какому-то тайному плану  
Снег засыпал и лес и поляну,  
Берега водоёмов и рек.  
Скоро кончится нынешний век,  
Век двадцатый с рожденья Христова...  
А пока половина шестого  
Или где-то в районе шести.  
И, часы позабыв завести,  
Занят мир увлекательным делом:  
Тихо пишет по белому белым.

1985

## ***2. Судьбы картинки***

\* \* \*

До чего регламент жёсткий.  
Только вышел на подмости,  
Произнёс "to be or not" ...  
Как уже попал в цейтнот,  
И осталось на решенье,  
На победу и крушенье,  
Колебание и бунт  
Пять стремительных секунд.

1985

\* \* \*

Всё серьёзно – каждый шаг, каждая улыбка,  
Как в младенчестве гремим крашеною рыбкой,  
Как ступаем по земле, как уходим в землю,  
Как бушуем и клянём, как смолкаем, внемля.  
Как прощаем, чем корим – всё весомо, свято,  
А не только миг, когда, на кресте распятый,  
Застывает надо всем мученик великий  
С выражением тоски на бескровном лице.  
Был он свят и был велик до распятия, прежде,  
Когда хаживал с людьми в будничной одежде.  
Не в Голгофе лишь одной пафос и мученье,  
Есть обычной жизни ход и судьбы течение.  
И не просто распознать, что есть миг обычный,  
Что есть самый главный миг, самый патетичный.

1970

\* \* \*

Мы одержимы пенем.  
И вновь, в который раз,  
Ты с ангельским терпеньем  
Выслушиваешь нас.  
О слушатель незримый,  
За то, что ты незрим,  
От всей души ранимой  
Тебя благодарим.  
Чего душа алкала –  
Не ведает сама.  
От нашего вокала  
Легко сойти с ума.  
Но ты не утрашился.  
И, не открыв лица,  
Нас выслушать решился  
До самого конца.

1987

\* \* \*

Чёрный клавиш. Ночная тоска.  
Беззащитней того волоска,  
На котором висит мирозданье,  
Звук, похожий на чьё-то рыданье...  
Скоро утро. Развязка близка.  
Скоро утро. Развязка – фантом.  
Белый клавиш расскажет о том,  
Чем богаты дневные мгновенья.  
В этой музыке всё откровенье  
О текущем и пережитом.  
Что за музыка, Боже ты мой!  
Вместо паузы глухонемой  
Краткий выдох, секунда молчанья  
И звучанье, звучанье, звучанье  
До скончания жизни самой.

1987

\* \* \*

Идет безумное кино  
И не кончается оно.  
Творится бред многосерийный.  
Откройте выход аварийный.  
Хочу на воздух, чтоб вовне  
С тишайшим снегом наравне  
И с небесами, и с ветрами  
Быть непричастной к этой драме,  
Где все смешалось, хоть кричи,  
Бок о бок жертвы, палачи  
Лежат в одной и той же яме  
И кое-как и штабелями.  
И слышу окрик: «Ваш черед.  
Эй, поколение, вперед.  
Явите мощь свою, потомки.  
Снимаем сцену новой ломки.»

1987

\* \* \*

О том и об этом, но только без глянца,  
Без грима и без ритуального танца.

О зле и добре, красоте и увечье...  
Из нежных волокон душа человечья,  
Из нежных волокон и грубого хлама...  
Мы все прихожане снесённого храма,  
Который, трудясь, воздвигали веками,  
Чтоб после разрушить своими руками.

1988

\* \* \*

I

Земля да небо. Третий – лишний.  
Ветра то громче, то неслышней  
Ему метельною зимой  
Гудели в ухо: «Прочь, домой»,  
А он в ответ: «Я дома. Вот он,  
Мой дом. Моим полита потом  
Земля», – твердил он, слаб и мал,  
Как будто кто ему внимал.

\* \* \*

II

А начинал он в до мажоре,  
Но, побывав в житейском море  
И тяжкую изведав боль,  
Сменил тональность на C mol,

И подчинился черным знакам,  
И надышался черным мраком,  
И взоры устремив горе,  
«Доколь», воскликнул на заре.

«Доколе, Господи, доколе»,  
Прошелестело чисто поле.  
«Доколь, доколь, до соль, до ля»,  
Вздыхали небо и земля.

1981

\* \* \*

Пахнет мятой и душицей.  
Так обидно чувств лишиться,  
Так обидно не успеть  
Все подробности воспеть.  
Эти травы не увидеть  
Всё равно, что их обидеть.  
Позабыть живую речь  
Всё равно, что пренебречь  
Дивной музыкой и краской.  
Всё на свете живо лаской.  
Жизнь, лишённую брони,  
Милосердный, сохрани.

1986

\* \* \*

Жалко Ниневию. Господи, жалко.  
Близкий конец предсказала гадалка.  
Для ниневийцев у Господа в торбе  
Нет ничего, кроме смуты и скорби,  
Крови и слёз. Но какая находка  
Будет у гения и самородка  
Эры грядущей. Какое открытье  
(Да помоги ему ум и наитье,  
Будь его век и прекрасен и долог)  
Вдруг обнаружить чудесный осколок  
Густо исчерченной глиняной плитки,  
И прочесть с пятисотой попытки  
Вмятое в глину с отчаянной силой  
Древнее, вечное: «Боже, помилуй».

1981

\* \* \*

И речи быть не может  
О том, что Бог поможет.  
Он сам разут и наг,  
Лишён малейших благ,  
Он сам гоним и болен.  
И с мёртвых колоколен  
Ни звука – немота  
На долгие лета...  
И век безумный длится  
И некому молиться.

1989



\* \* \*

Но в хаосе надо за что-то держаться,  
А пальцы устали и могут разжаться.  
Держаться бы надо за вехи земные,  
Которых не смыли дожди проливные,  
За ежесекундный простой распорядок  
С настольною лампой над кипой тетрадок,  
С часами на стенке, поющими звонко,  
За старое фото и руку ребенка.

1989

\* \* \*

В тишине тону с головкой,  
Растворяюсь без остатка...  
Чем-то божию коровку  
Привлекла моя тетрадка:  
Тихо ползает по строчкам,  
По словам моим корявым,  
Как по сучьям и по кочкам,  
По соцветиям и травам.  
Будто это всё едино,  
Будто всё одно и то же:  
Длинной строчки середина,  
Слово, стебель, цветоложе.  
Будто те ж лучи живые  
И одни земные соки  
Кормят травы полевые  
И питают эти строки.

1987

\* \* \*

Мы у вечности в гостях  
Ставим избу на костях.  
Ставим избу на погосте  
И зовем друг друга в гости:  
«Приходи же, милый гость,  
Вешай кепочку на гвоздь».  
И висит в прихожей кепка.  
И стоит избушка крепко.  
В доме радость и уют.  
В доме пляшут и поют,

Топят печь сухим поленом.  
И почти не пахнет тленом.

1981

\* \* \*

### На смерть Яши К.

Встань, Яшка, встань. Не умирай. Как можно!  
Бесчеловечно это и безбожно,  
Безжалостно ребенком умирать.  
Открой глаза и погляди на мать.  
Ты погляди, что с матерью наделал.  
Она твое бесчувственное тело  
Все гладит и не сводит глаз с лица.  
И волосы седые у отца.  
Он поправляет на тебе рубашку  
И повторяет: «Яшка, сын мой, Яшка».  
И повторяет: «Яшка, мой сынок».  
Гора цветов. Венок. Еще венок.  
... Пришел ко мне смешливым второклашкой.  
Нос вытирал дырявой промокашкой.  
И мы с тобой учили «I and You»,  
«I cry, I sing» – я плачу, я пою.  
Как жить теперь на свете. Жить попробуй,  
Когда вот-вот опустят крышку гроба,  
В котором мальчик, давний ученик.  
Его лицо исчезнет через миг.  
И нет чудес. Но, Господи, покуда  
Еще не выросла сырая груда  
Земли, не придавили снег и лед,  
Приди, вели: «Пусть встанет. Пусть идет».

1979

\* \* \*

Безумец, что затеял?!  
Затеял жить на свете.  
И кто тебе навеял  
Блажные мысли эти?  
Затея невозможна.  
Почти невыполнима.  
Любая вежа ложна,  
Любая данность мнима.  
Скажи, тебе ли впору  
Раздуть под ливнем пламень,

И на крутую гору  
Вкатить Сизифов камень,  
Того, кто всех дороже,  
Оплакивать на тризне?  
И ты воскликнул: «Что же  
Бывает кроме жизни?»

1984

\* \* \*

Однажды выйти из судьбы,  
Как из натопленной избы  
В холодные выходят сени,  
Где вещи, зыбкие, как тени,  
Стоят, где глуше голоса,  
Слышнее ветры и леса,  
И ночи черная пучина,  
И жизни тайная причина.

1980

\* \* \*

Не знаю кем, но я была ведома  
Куда-то из единственного дома,  
Не потому ли по ночам кричу,  
Что не свои, чужие дни влачу,  
Расхлебывая то, что навязали,  
И так живу, как будто на вокзале  
Слоняюсь вдоль захватанных перил...  
Да будь неладен тот, кто заварил  
Всю канитель и весь уклад досадный.  
Приходит в мир под свой же плач надсадный  
Дитя земное. Кто-нибудь, потрафь  
И посули невиданную явь.  
Как музыка она, иль Божье Слово.  
Но мне в ответ: «Под дудку крысолова  
Идти, под вероломное «ду-ду»  
Написано всем грешным на роду  
С молодых ногтей до полного маразма.  
Вначале смех, а после в горле спазма,  
А после холм и почерневший крест,  
И никаких обетованных мест.  
Понеже нет иной и лучшей яви,  
От нынешней отлынивать не вправе».  
...Всё так. Но что за лучезарный дом  
Припоминаю изредка с трудом?

\* \* \*

## I

Как будто с кем-то разлучиться  
 Пришлось мне, чтоб на свет явиться;  
 Как будто верности обет  
 Нарушила, являсь на свет;  
 И шарю беспокойным взором  
 По лицам и земным просторам,  
 Ища в сумятице мирской  
 Черты заветные с тоской;  
 Как будто все цвета и звуки  
 Обретены ценой разлуки  
 С неповторимым вечным «Ты»,  
 Чьи страшно позабыть черты.

\* \* \*

## II

Ещё пролёт, ещё ступени,  
 Войду – и рухну на колени!  
 Ещё пролёт – и дверь рывком  
 Открою. Господи, о ком,  
 О ком тоскую, с кем в разлуке  
 Живу, кому слезами руки  
 Залью. Кому почти без сил  
 Шепчу: «Зачем ты отпустил,  
 Зачем пустил меня скитаться,  
 Вперёд спешить, назад кидаться,  
 Зачем», – шепчу. И в горле ком.  
 ...Ещё ступенька, и рывком  
 Открою двери. И ни звука...  
 Такая долгая разлука.  
 Открою дверь – и свет рекой.  
 Войду и рухну. И покой.

\* \* \*

Роза, жасмин и шиповник, и роза....  
 В этом избытке для жизни угроза.

Роза, жасмин и шиповник – богатство,  
Роскошь и пир, и почти святотатство.  
Господи, Боже, не дай насыщенья.  
Слишком обильно твоё угощенье.  
Слишком обильно и пышно, и сдобно.  
Яство такое едва ли съедобно.  
Роза, жасмин и шиповник, и роза –  
Чуда земного смертельная доза.  
Для вдохновенья, и счастья, и боли  
Нам бы хватило и тысячной доли.

1986

\* \* \*

Сплю ногами к полю,  
К лесу головой.  
Окнами на волю  
Дом мой угловой.  
Покачнулась койка...  
Скрипнули полы...  
Лёгкая постройка...  
Тонкие стволы...  
Над стволами гроздь  
Звёздные в ночи...  
А за печкой гвоздик,  
А на нём ключи:  
Этот от сарая,  
Этот от ворот,  
От земного рая  
Неказистый тот.

1988

\* \* \*

А я ещё живу, а я ещё дышу,  
У вас, друзья мои, прощения прошу  
За то, что не могу не обращаться к вам,  
И вы опять должны внимать моим словам.  
Прощения прошу у ночи и у дня  
За то, что тьму и свет изводят на меня,  
Прощения прошу у рек и берегов  
За то, что им вовек не возвращу долгов.

1987

\* \* \*

Не бывает горше мифа,  
Чем про бедного Сизифа.  
Все мы летом и зимой  
Катим в гору камень свой.  
Не бывает хуже пытки,  
Чем никчёмные попытки,  
Зряшный опыт болевой,  
Труд с отдачей нулевой.

1988

\* \* \*

Шуршат осенние дожди,  
Целуя в темя.  
Ещё немного подожди,  
Коль терпит время.  
Ещё немного поброди  
Под серой тучей,  
А вдруг и правда впереди  
Счастливый случай,  
И всё текущее не в счёт –  
Сплошные нети.  
А вдруг и не жил ты ещё  
На белом свете,  
Ещё и музыка твоя не зазвучала...  
Надежду робкую тая,  
Дождись начала.

1989

\* \* \*

А лес в шелку зелёном  
И в искрах золотистых...  
Умрёшь неуголённым  
В один из дней лучистых.  
Умрёшь влюблённым в осень,  
В её этап начальный,  
В поскрипыванье сосен,  
В осенний пир печальный.  
Пируй же, нищий духом,  
И можно ли поститься,  
Когда над самым ухом  
Поют и дождь, и птица.  
А ты, не насыщаясь,

(И этот дар чудесен)  
Как будто бы прощаясь,  
Всё просишь песен, песен...

1989

\* \* \*

Всё исчезнет – только дунь –  
Полдень, марево, июнь,  
Одуванчиково поле,  
Полупризрачная доля  
Жить вблизи лесов, полей,  
Крытых пухом тополей.

1973

## 2. «ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ»

*Заметки о любимых книгах и стихах*

«Лазурь да глина, глина да лазурь,  
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,  
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,  
Над книгой звонких глин, над книжною землей,  
Над гнойной книгою, над книгой дорогой,  
Которой мучимся как музыкой и словом».

Трудно поверить, что я росла, не зная ни этих, ни других строк Мандельштама. И не знала я ни единой цветаевской строки. Даже таких хрестоматийных, как

«Тоска по Родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
Мне совершенно все равно —  
Где совершенно одинокой  
Быть...»

Из ахматовских стихов я знала только то, которое часто слышала в детстве, потому что его любила читать мама, когда собирались гости:

Один идет прямым путем  
Другой идет по кругу  
И ждет возврата в отчий дом  
Ждет прежнюю подругу.  
А я иду — за мной беда,  
Не прямо и не косо,  
А в никуда и в никогда,  
Как поезда с откоса».

Мама читала стихотворение, держа в руках малоформатный сборник, который ей подарила сама Ахматова вскоре после войны. Читала с выражением, с красноречивыми паузами. А прочитав, эффектным движением захлопывала книжку и бросала на диван. Вот и вся Ахматова, которую я знала. После того, как мне однажды сказали, что в моих стихах есть ахматовские интонации, я даже боялась прикоснуться к ее поэзии. И лишь много позже, когда можно было не опасаться подражательности, открыла для себя Ахматову целиком.

Удивительно, начиная писать, я совершенно не была «обременена» знанием великой поэзии. Но, может быть, такое невежество необходимо, чтоб на что-то решиться. Конечно, я росла на сказках Пушкина. Даже разговаривала цитатами из этих сказок: «Дурачина ты, простофиля», — говорила я своим обидчикам. Школьницей знала наизусть многие страницы из «Горя от ума». И, влюбившись в грибоедовские строки, влюбилась в самого автора и часто бегала смотреть на его портрет, висящий в витрине книжного магазина на соседней улице Малой Якиманке. Пять раз видела пьесу «Грибоедов» и даже от избытка чувств звонила актеру Левинсону, игравшему Грибоедова. Позже я долгое время жила Лермонтовым. Не стихами его, а «Героем нашего времени», которого читала, перечитывала и учила наизусть. Но в своих детских стихах я подражала не Пушкину, не Лермонтову, а Агнии Барто. И даже ее стихи считала своими и декламировала, как свои:

Весна, весна на улице  
Весенние деньки  
Все утро заливаются трамвайные звонки...

В 61-м году, будучи студенткой, я впервые прочла Цветаеву в альманахе «Гарусские страницы». Этот сборник, едва появившись в продаже, исчез и стал раритетом. Мои сокурсники купили несколько экземпляров не то в Калуге, не то в Туле, и я оказалась одним из немногих счастливых обладателей сборника.

Тогда же я прочла напечатанные на машинке стихи Пастернака из «Доктора Живаго» и, следуя девчачьей школьной привычке к переписыванию, прилежно переписала несколько стихотворений, ничего в них не поняв и не запомнив.

Много лет спустя я, случайно познакомившись с папиным фронтовым другом, узнала, что единственной книгой, которую папа, уйдя добровольцем на фронт, взял с собой, был томик Пастернака. Вскоре там же на фронте он подарил ее своему приятелю на день рождения. Тот не хотел брать, зная невероятную любовь отца к Пастернаку. «Бери, бери», — говорил отец, — «Я все помню наизусть. Тебе нужнее».

Отцу было тогда немногим больше, чем мне в 61-м. Он жил тем, что для меня в моей юности не существовало. В годы его юности (конец двадцатых — тридцатые) еще слышны были отголоски серебряного века. Еще можно было купить у букиниста или где-то достать редкие сборники, что и делал отец. Но он погиб на фронте в 42-ом, а собранные и читанные им книги оказались задвинутыми вглубь нашего книжного шкафа томами поновее. Мама, хоть и любила стихи, редко доставала с полки отцовские книги. Она жила другими именами. Читала Щипачева, Симонова, Веру Инбер, Иосифа Уткина. Особенно его «Рыжего Мотеле».

Что же до меня, то однажды в детстве, повертев и понюхав эти рассыпающиеся сборники (мне нравился запах старых книг), я забыла о них и с головой окунулась в современность. Читала и перечитывала Веронику Тушнову, повторяя про себя:

«Не зарекаются, любя  
Ведь жизнь кончается не завтра.  
Я перестану ждать тебя,  
А ты придешь совсем внезапно...»



С воодушевлением переписывала стихи Евтушенко:

Со мною вот что происходит:  
Ко мне мой старый друг не ходит,  
А ходят в праздной суете разнообразные не те.

Любила стихи Юнны Мориц:

Опомнись! Что ты делаешь, Джульетта  
Остановись, окрикни этот сброд.  
Зачем ты так чудовищно одета,  
Остра, отпета,  
Под линейку рот?..»

Мне нравились строгие и несколько назидательные строки Слуцкого:

Надо думать, а не улыбаться,  
Надо книжки умные читать....

И особенно такие:

А мелкие пожизненные хлопоты  
По добыче славы и денег  
К жизненному опыту не принадлежат».

Я читала все стихотворные колонки в периодике, покупала уйму сборников, что-то вечно переписывала. Но отцовское наследие осталось невостребованным.

И все же мне повезло: я встретила людей, которые вернули меня к моим же истокам.

Татьяна Александровна Мартынова — геофизик, дочь старого большевика, редактора «Искры». Несмотря на то, что ей было под пятьдесят, ее почему-то все называли Таней. Оттого, наверное, что она была общительна, подвижна и удивительно легка на подъем. Я познакомилась с ней в Москве, но подружилась в Коктебеле, куда впервые попала летом 61-го года. Однажды на тропинке, ведущей к морю, я неожиданно увидела Таню. С этой минуты моя коктебельская жизнь переменилась. «Завтра мы пойдем в горы», — заявила она, не спрашивая моего согласия. «Я постучу тебе в окно в шесть утра». И она постучала. Через пять минут мы уже были на рынке и завтракали только что купленными молоком и творогом, а еще через несколько минут поднимались по тропинке в горы.

Боже, что мне открылось! Дивный вид на море и поселок. Холмы, поросшие неведомыми мне травами. Таня, указывая на вершины, называла их странно звучащими татарскими именами. «Видишь те скалы над морем? Они похожи на волошинский профиль», — сказала она. Еще до приезда Тани я много раз слышала имя Волошина, проходила в двух шагах от его дома, видела открытую веранду, откуда доносились голоса и смех. Но жизнь моя текла мимо: пляж, дом, пляж, столовая. И вдруг: «После обеда пойдем к Марии Степановне — вдове Волошина». Волошин — имя из моего детства. Когда-то давным-давно я держала в руках его сборник в линияло матерчатом переплете и читала золоченую надпись: «Максимилиан Волошин. Иверни. 1918 год». Запомнив имя, я не знала ни строки, ни судьбы поэта.

И вот я поднимаюсь по скрипучим ступенькам на второй этаж. Мария Степановна, маленькая, коренастая, седая, коротко стриженная, радушно встречает Таню, которую знает давно. Она, не приглашая нас в комнату, усаживает тут же на веранде, садится рядом, подвернув под себя ногу, и принимается расспрашивать Таню о Москве. Я

разглядываю древесные корни, висящие на стенах дома. Они похожи на фигурки бегущих животных и танцующих людей. Заметив мой взгляд, Мария Степановна сняла один корень и протянула его мне. «Габриак», — услышала я странное слово. Так коктебельцы называли эти фигурки. Я гладила корень, а Мария Степановна рассказывала историю придуманной Волошиным загадочной поэтессы Черубины де Габриак. Мимо дома тек пестрый, летний, людской поток, слышалась музыка, доносился запах съестного. Мария Степановна с горечью говорила об исчезающем Коктебеле, о том, что его безбожно уродуют и терзают. Все иное: море, берег, звуки, запахи.

Но в следующие свои приезды я вспоминала Коктебель 61-го как девственную и безнадежно утраченную планету, с еще не исчезнувшими окончательно разноцветными камушками на берегу, с диким кизилом и вечерними цикадами в горах, с морскими бухтами, куда добирались на лодках или пешком, с табачной плантацией на пути к Мертвой бухте.

Какую жизнь вели мы с Таней тем летом! Бегали в горы, купались гольшом в далеких безлюдных бухтах, плавали на лодке к Золотым воротам. А главное — приходили в Дом Поэта слушать рассказы Марии Степановны о Максиньке и беседовать с древними старушками, которые говорили о давно ушедшем, как о вчерашнем дне. Но, увы, слушая во все уши и глядя во все глаза, я мало что понимала, так как понятия не имела о том времени, о котором шла речь. И все-таки, обладая еще почти детской памятью и вниманием к деталям, я многое запомнила на всю жизнь: волошинские неяркие акварели, конторку, стоящую возле двери, тусклое зеркало над конторкой, огромную перламутровую раковину с Индийского океана, привезенную Волошиным из дальних странствий, бесконечные книжные полки, вид из окна на море и профиль поэта. А главное, висящую на стене мастерской маску египетской царицы Таиах — ее загадочную полуулыбку. В один из своих приездов в Коктебель на диванчике под маской ночевала Таня, о чем часто с гордостью рассказывала. Где она только не ночевала в своем легком и теплом пуховом мешке, который всюду возила с собой: и в лесу, и в горах, и у моря, и в Доме Поэта возле бессмертной Таиах.

Однажды мне было разрешено принять участие в уборке дома. Вытирая пыль с книг, я то и дело слышала восхищенные восклицания и бормотания Тани, натолкнувшейся на очередную редкую книгу. Она тут же опускалась на табурет и принималась читать. Мне тоже хотелось восхищаться и трепетать, но я не знала чем и от чего. Тем не менее я тоже садилась на деревянные ступеньки, ведущие на галерею и в верхнюю комнату дома, и листала пожелтевшие страницы. Уборка продвигалась медленно и за эти долгие часы в меня, кажется, на всю жизнь вьелся запах старых книг.

На следующий день в награду за труды Мария Степановна вынесла целую кипу волошинских статей и стихов и разрешила читать. И вот жарким летним днем я сидела в прохладной полукруглой комнате за столом и переписывала все подряд под насмешливым взглядом египетской царицы. Она-то знала, что я слепой щенок, который тычетя во все эти мудрые строки, ничего в них не смысла.

Еще целых двенадцать лет оставалось до того дня, когда старый ленинградский профессор Виктор Андроникович Мануйлов — завсегдатай Коктебеля, лермонтовед и знаток Волошина — пригласит меня почитать стихи в Доме Поэта, и строгая нелюдимая Мария Степановна, дослушав чтение до конца, скажет: «Спасибо. Мне стало интересней жить».

Виктор Андроникович — любимец студентов и аспирантов, всегда окруженный людьми, всем необходимым, вечно занятый, с постоянной горкой писем на столе. Он неизменно излучал приветливость и радушие и по старой университетской привычке, всех, даже юных, уважительно называл по имени отчеству. Я впервые увидела Мануйлова, когда он водил по дому гостей и что-то им тихо рассказывал, боязливо поглядывая на дверь. Позже я узнала, что он, поддавшись на уговоры, пустил в дом посетителей, нарушив запрет уставшей от летних гостей Марии Степановны. И, зная ее

крутой нрав, просил их ходить на цыпочках и говорить шепотом. Когда же она все-таки появилась в дверях, он начал оправдываться, смущенно и виновато улыбаясь.

У него была замечательная внешность: младенчески розовое лицо, смеющиеся глаза, оттопыренные уши и вечная тубетейка на лысом черепе.



*Л. Миллер и В.А. Мануйлов, Коктебель Дом Волошина, 1973.*

Когда я попала в его поле зрения, он воскликнул: «Да вы же фаюмочка, вас непременно надо писать». И повел меня к московскому художнику Валерию Всеволодовичу Каптереву, тоже завсегдатаю и патриоту Коктебеля. Каптерев жил возле рынка в маленьком, белом, типично коктебельском доме. Стены его комнаты были завешены простынями. «Я закрыл ими пестрые хозяйские коврики, чтоб не отвлекали», — объяснил он. Валерий Всеволодович усадил меня посередине комнаты на табурет и, вцепившись в мое лицо хищным, прищуренным глазом, принялся писать. Я же тем временем разглядывала его картины. Картон небольшого формата населяли мидии, странные рыбки, петухи небывалой расцветки, цветы — все знакомое и незнакомое, здешнее и нездешнее. Каптерев писал быстро. Он сказал, что это его первый портрет после двенадцатилетнего перерыва. Взглянув на портрет, я обомлела: передо мной была восточная красавица с нежной смуглой кожей лица, миндалевидными глазами и ломаной линией бровей. Она смотрела в пространство капризно и отчужденно, как бы говоря: «Надеюсь, ты понимаешь, что не имеешь ко мне ни малейшего отношения?» «Но ведь на тебе мой розовый халат в белый горошек и у тебя коса, как у меня?» — с робкой надеждой задала я свой немой вопрос. Но та, на портрете отказывалась продолжать беседу. Она уже жила своей недоступной мне жизнью. Позже в Москве Валерий Всеволодович рассказывал, что многие молодые люди, увидев портрет, просят у него телефон юной красавицы. Я заклинала его не давать никому моего телефона, с тоской предвидя реакцию бедных поклонников.



*Лариса Миллер, портрет работы Валерия Кантерева, 1961.*

Виктор Андроникович, обрадованный удачей с портретом, собрался идти со мной к скульптору Григорьеву, чтоб тот меня лепил. Но я категорически воспротивилась. Мне «хватило» и портрета.

Таня Мартынова, Виктор Андроникович Мануйлов, а позже Арсений Александрович Тарковский — незабвенные мои проводники в Затонувший Град Китеж — не знаю как назвать разрушенный, почти уничтоженный мир, который я потом всю жизнь пыталась восстанавливать по крохам, дорожа каждой строкой, каждым штрихом, каждым упоминанием.

Таня Мартынова открыла мне истинный Коктебель — Коктебель художников, поэтов, странников.

Она познакомила меня с картинами Фалька, приведя в дом на берегу Москва-реки, где жила его вдова. И хотя я мало разбиралась в живописи, но понимала, что дышу особым воздухом и соприкасаюсь с тем миром, который изгнан из обыденной, повседневной жизни.

Она возила меня в Мичуринец к Валентину Фердинандовичу Асмусу, своему доброму другу. И я на всю жизнь запомнила, как пожилой ученый-философ, слушая свою любимую пластинку, ходит взад-вперед по кабинету, улыбается и потирает от волнения руки. Таня показала мне комнату, в которой останавливались Гаррики (так друзья называли Генриха Густавовича Нейгауза и его жену), когда приезжали к Асмусам на дачу.

Благодаря Тане я имела случай наблюдать, как Нейгауз слушает на отчетном концерте своих учеников, то нетерпеливо отбивая костяшками пальцев такт, то напевая себе под нос, то выкрикивая с места что-то грозное и уничтожающее.

Спасибо судьбе, что я застала этих людей. Они — почти последние звенья оборванной цепи. Лишь гораздо позже я смогла в полной мере оценить, с чем соприкоснулась и пожалеть, что так мало смыслила.

Дружба с Мануйловым длилась много лет до самой его смерти в 87-ом году. Для меня Мануйлов это не только Коктебель, но и Ленинград, и Комарово.

Году в 73-м мы всей семьей жили несколько дней у него в огромной ленинградской коммуналке, в которой ему принадлежала поделенная пополам комната непонятной формы (часть бывшей залы, наверное), с камином и лепными потолками. Странно выглядела на мраморном камине жестяная мыльница, с которой Виктор Андроникович ходил в ванную комнату умываться. Эта ванная комната была замечательна тем, что по стенам ее сверху донизу стояли полки со старыми газетами и журналами. Надо было быть Виктором Андрониковичем, чтоб многочисленные соседи не возражали против этого.

Живя у Мануйлова, я впервые прочла Ремизова, Ю. Анненкова. Я бы прочла и многое другое (книги лежали на рояле, на полу, на столах и полках), но мне было отпущено только пять дней.

Трудно себе представить, что больше не существует мануйловской комнаты на 4-й Советской. Печальная вещь — демонтаж такого мира.

Низкий поклон Виктору Андрониковичу. Как удивительно он умел слушать стихи! Он откидывался на спинку дивана и буквально внимал с видом мечтательным и счастливым. Виктор Андроникович любил разделенную радость, и потому всегда приглашал «на стихи» гостей. «Отлично, отлично», — взволнованно говорил Мануйлов, — «Баховская патетика». После таких слов хотелось творить чудеса. Жизнь казалась осмысленной, наполненной, беспредельной.

«Я счастливый человек, — говорил Виктор Андроникович. — Мне нечего терять: ни жены (он разошелся с ней незадолго до нашего знакомства. -- *Л. М.*), ни машины, ни дачи».

Однажды, уже совсем старым человеком, он застенчиво признался, что всю жизнь пишет стихи. И рассказал, что в давние годы его руку посмотрел один хиромант (Виктор Андроникович очень верил в эту науку и хорошо знал ее) и посоветовал не печатать и не показывать стихов в течение пятидесяти лет. Мануйлов последовал этому совету и выпустил свой единственный стихотворный сборник в восемьдесят лет.

Коктебель без Мануйлова. Ленинград без Мануйлова. Комарово без Мануйлова. Скучно думать об этом.

Вижу его стоящим на зимней платформе Комарово, в длинном черном старомодном пальто и галошах. Снег ложится на шапку и воротник. Виктор Андроникович улыбается и машет рукой. Электричка увозит меня в Ленинград. А вечером я уеду в Москву, куда будут время от времени приходить короткие, но вдохновенные письма из Ленинграда. Летом 61-го на пяточке перед домом творчества, на второй день нашего знакомства Виктор Андроникович читал мою руку. «Вы будете писать. У Вас огромная тяга к самовыражению». Сказал он и многое другое. Позже я удивлялась его прозорливости, но в ту пору спала младенческим сном. Во всяком случае, на слово не откликалась, хотя на звуки откликалась уже давно. Мама рано начала таскать меня на концерты, иногда играла дома сама, и музыка часто доводила меня до слез. Я этого очень стеснялась и с ужасом вспоминала поездку в Клин, в дом-музей Чайковского, где я прилюдно расплакалась, слушая запись Пятой симфонии. Не найдя платка, давясь слезами, я в конце концов выбежала из зала.

Так действовали звуки, а слова оставались словами. Я все еще жила по эту сторону слов, не проникая в их глубины и тайны, не постигая чуда их сцепления и звукописи.

Но когда я наконец стала откликаться на слово, то полюбила вот что:

Жизнь моя все короче, короче,  
Смерть моя все ближе и ближе,  
Или стал я поэтому зорче  
Или свет нынче солнечный ярче,  
Но теперь я отчетливо вижу,  
Различаю все четче и четче,  
Как глаза превращаются в очи,  
Как в уста превращаются губы,  
Как в дела превращаются речи.  
Я не видел все это когда-то.  
Я не знаю... Жизнь кратче и кратче,  
А на небе все тучи и тучи,  
Но все лучше мне, лучше и лучше,  
И богаче я все и богаче...  
Говорят, я добился удачи».

Я покупала все сборники Леонида Мартынова, какие могла достать. Мне доставляли удовольствие его четкие формулировки, логические умозаключения:

Из смиренья не пишутся стихотворенья,  
И нельзя их писать ни на чье усмотренье,  
Говорят, что их можно писать из презренья.  
Нет! Диктует их только прозренья.

Еще один кумир моей юности — Евгений Винокуров:

Я чуть не плакал. Не было удачи!  
Задача не решалась — хоть убей.  
Условье было трудным у задачи.  
Дано: «летела стая лебедей...».  
Я, щеку грустно подперев рукою,  
Делил, слагал — не шли дела на лад!  
Но лишь глаза усталые закрою,  
Я видел ясно: вот они летят...  
Они летят над облачною гущей  
С закатом, догорающим на них,  
Закинул шею тонкую ведущий  
Назад и окликает остальных...

Строка «вот они — летят» казалась мне особенно поэтичной. Хотелось тут же сесть и написать что-нибудь подобное.

Не помню, как это получилось, но однажды году в 63-м или в 64-м в Доме литераторов мне удалось встретиться с Винокуровым и показать ему свои стихи. Он почитал их и спросил, нравится ли мне писать. Я обиделась и ответила, что меня мама заставляет. Он усмехнулся и, выбрав одно стихотворение из десяти, принесенных мной, сказал: «Вот так пишете. Остальное плохо». После этого я некоторое время совсем не могла писать, потому что постоянно сравнивала написанное с «тем» стихотворением и не понимала «так» я пишу или «не так».

Вот они «те» стихи:

Хрустит ледком река лесная,

И снег от солнца разомлел...  
А я опять, опять не знаю  
Как жить на обжитой земле.  
Опять я где-то у истока  
Размытых мартовских дорог,  
Чтоб здесь, не подводя итога,  
Начать сначала — вот итог».

Позже я влюбилась в стихи Владимира Соколова. Те строки, которые любила тогда, трогают меня и сегодня:

Прошу тебя, если не можешь забыть,  
И если увидеться хочешь,  
Придумай, о чем нам с тобой говорить  
(Ты женщина — ты и хлопочешь).  
О прежнем не скажешь моим языком,  
Как дождик, оно перестало  
Увяло под беглым твоим каблуком,  
Крапивою позарастало.  
Прошу тебя, если надежд не унять,  
И тянет, убив, повидаться,  
Придумай, как лучше тебя мне узнать,  
Во множестве не обознаться.  
Скажи: мой единственный, под фонарем  
В толпе, задохнувшись от бега,  
Стоять буду в шляпке — с вуалью, с пером,  
В слезах прошлогоднего снега.

Где-то в моих заветных папках и сейчас хранятся вырезанные из журналов и газет подборки его стихов.

Не смейтесь под окном, когда так грустно в доме.  
А впрочем, как вам знать, вы молоды совсем.  
Рассвет или закат на вашем окоеме,  
Вы знаете одно: так значит, завтра, в семь!  
Что может завтра в семь смертельного случиться!  
Разлука навсегда? Но это как восторг,  
Как встреча с морем, зыбь, где может приключиться  
Лишь лучшее, чем то, что Бог навек отторг...

Естественность его интонации поражала. Стихи запоминались сразу. Вернее, их невозможно было забыть. И даже не помня слов, я помнила интонацию.

Пластинка должна быть хрипящей,  
Заигранной... Должен быть сад  
В акациях так шелестящий,  
Как лет восемнадцать назад.  
Должны быть большие сирени —  
Султаны, туманы, дымки.  
Со станции из-за деревьев/  
Должны доноситься гудки.  
И чья-то настольная книга

Должна трепетать на земле,  
Как будто в предчувствии мига,  
Что все это канет во мгле».

В середине шестидесятых, прочтя в журнале «Москва» крошечное стихотворение «Конец навигации», я открыла для себя поэта Арсения Тарковского. Две его книги «Перед снегом» и «Земле земное» стали настольными\*. Из уст Тарковского я снова услышала и наконец-то расслышала Пушкина, Тютчева, Фета, Ахматову, Мандельштама, Цветаеву. Арсений Александрович подарил мне «Вечерние огни» Фета и двухтомник Тютчева. Помню тот зимний вечер, когда я впервые раскрыла подаренного мне Тютчева. В доме было непривычно тихо. Сын спал. Я сидела в полутемной комнате и при свете настольной лампы читала:

Завтра день молитвы и печали,  
Завтра память рокового дня...  
Ангел мой, где б души не витали,  
Ангел мой, ты видишь ли меня?»

Сердце болело от этих стихов.

Знакомство с Арсением Тарковским — начало новой эпохи в моей жизни. Я недавно написала об этом и не могу здесь повторяться.

И, подумать только, мне было почти тридцать лет, когда я, наконец, вернулась к истокам. Наконец мне стал открываться истинный ландшафт моей духовной родины, о которой я долгое время не подозревала, но с которой всегда была связана какими-то мне самой неведомыми нитями. Когда же все постепенно встало на свои места, когда, как на контурной карте, вместо едва намеченных линий, появились заштрихованные территории, я поняла, что это и есть мой Дом, и я жила в нем с рождения.

Как же долго я спала и как медленно просыпалась!

А проснувшись, растерялась от богатства, которое мне открылось.

В 1971 году я купила книгу Р.-М. Рильке «Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи». Роден, как и Волошин, имя из моего детства. В моем старом книжном шкафу были три отцовские книги, которые я рассматривала чаще других: большая на грубой серой бумаге со множеством цветных репродукций книга «Гоген на Таити», Босх, вызывавший у меня сладкий ужас, и книга о Родене, чьи скульптуры «Поцелуй», «Вечный кумир», «Данаида» пленяли и завораживали. Точеные юные тела были предметом моих восторгов и грез.

Купив книгу Рильке, я буквально набросилась на эссе о творце столь любимых мною скульптур. Вот что пишет Рильке о жизни Родена: *«Было детство, некое детство в бедности, темное, ищущее, неопределенное. И это детство осталось, ибо — как сказал однажды святой Августин, — куда ему деваться? Остались, может быть, все прошедшие часы, часы ожидания и заброшенности, часы сомнения и долгие часы нужды; это жизнь, ничего не потерявшая и не забывшая, жизнь, которая сосредоточивалась, проходя. Может быть, мы ничего о ней не знаем. Но только из подобной жизни, думается нам, возникает такое изобилие и переизбыток действия; только такая жизнь, в которой все одновременно, все бодрствует, ничего не миновало, способна сохранить силу и юность, вновь и вновь возноситься к высоким творениям»<sup>1</sup>.*

Как мне дороги эти слова о единстве, неслучайности всей жизни человеческой, которая уходит корнями невесть в какую глубину и длится долго после конца, а может, и

---

<sup>1</sup> Здесь и далее перевод В. Микушевича. — Авт.



не кончается, преобразуясь в нечто иное. «Жизнь, ничего не потерявшая и не забывшая, в которой все бодрствует, ничего не миновало».

Книга эта бесконечна и бездонна. К ней можно возвращаться снова и снова, открывая новое, незамеченное прежде. А не заметить немудрено, потому что трудно поспеть за каждым новым образом и новым поворотом мысли.

Тьму уроков извлекла я из этого чтения. Губы сводит от бесплодной попытки назвать их и обозначить. *«Есть в Родене темное терпение, делающее его почти безмянным, тихая, неодолимая выдержка, нечто, подобное великому терпению и доброте природы, начинающей на пустом месте, чтобы тихо и серьезно, долгой дорогой идти к изобилию. И Роден не отважился сразу делать деревья. Он начал словно бы с подземного ростка. И этот росток укрепился, пустил корень за корнем вниз, прежде чем начал маленьким побегом пробиваться вверх. Требовалось время и время. “Не нужно спешить”, — говорил Роден немногим близким друзьям, когда те его торопили».*

Душа резонирует на каждое слово. Конечно же, это проза поэта, действующая на подкорку раньше, чем на сознание. Только поэт может сказать, что скульптуры соборов — это «крестный ход зверей и обремененных».

Только поэт способен сказать о скульптуре птицы, что «небо выростало из нее и окружало ее, на каждом из перьев складывалась и укладывалась даль, и можно было развернуть эту даль в ее необъятности».

Только поэт может дать такое описание моста: «А как великолепно мост в Севре перемахивает через реку, отступая, переводя дух, разбегаясь и снова прыгая трижды».

Если говорить о чтении, то я проживала не дни, не месяцы, а книги: Гете, Томас Манн, Цветаева, Пастернак.

Лето и ранняя осень 71-го прошли под знаком Заболоцкого. В ту пору я жила на даче с маленьким сыном. Лето было яблочным и, проснувшись на заре, я слушала стук яблок о землю и повторяла про себя:

О сад ночной, таинственный орган,  
Лес длинных труб, приют виолончелей!  
О сад ночной, печальный караван/  
Немых дубов и неподвижных елей.

Наверное, только тогда я научилась по-настоящему слышать и видеть природу, и строки Заболоцкого стали частью ее:

Все, что было в душе, все как будто опять потерялось,  
И лежал я в траве и печалью и скукой томим,  
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,  
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним...

Заболоцкий буквально вел меня по земле, заставляя временами останавливаться, и, замерев, смотреть и слушать.

Осенних листьев ссохлось вещество/  
И землю всю устлало. В отдалении/  
На четырех ногах большое существо/  
Идет, мыча, в туманное селение./  
Бык, бык! Ужели больше ты не царь?/  
Кленовый лист напоминает нам янтарь...»  
«Архитектура осени. Расположение в ней/  
Воздушного пространства, рощи, реки,  
Расположение животных и людей./

Когда летят по воздуху колечки/  
И завитушки листьев, и особый свет — /  
Вот то, что выберем среди других примет...»

Заболоцкий пишет «Осень» с заглавной буквы, как имя собственное. Единичность, единственность, особенность, неповторимость, значительность каждого мгновения — вот что внушает поэт каждой своей строкой.

Впервые в жизни я столь отчетливо ощутила ток жизни, ее тайные и явные метаморфозы, происходившие в душе и в природе. И многие мои стихи, написанные в ту пору, об этом:

Где ты тут в пространстве белом?/  
Всех нас временем смывает./  
Даже тех, кто занят делом — /  
Кровлю прочную свивает./  
И бесшумно переходит/  
Всяк в иное измеренье./  
Как бесшумно происходит/  
Тихой влаги испаренье...»

И еще:

Осенний дождик льет и льет — /  
Уже и ведра через край./  
Не удержать — все утечет./  
И не держи — свободу дай./  
Пусть утекают воды все, /  
И ускользают все года — /  
Приснится в сушь трава в росе/  
И эта быстрая вода./  
В промозглую пустую ночь/  
Приснится рук твоих тепло./  
И этот миг уходит прочь./  
И это лето истекло./  
Ушла, позолотив листья./  
И эта летняя пора./  
Прибавив сердцу чистоты./  
Печали, нежности, добра.

В разные периоды жизни книги читаются по-разному. И чтение становится праздником лишь тогда, когда включаются внутренний слух и внутреннее зрение. К сожалению, эти мгновения не столь уж часты, но я пишу только о них.

В 1976 году мой приятель поэт Алексей Королев дал мне маленькую ксерокопированную книжку в матерчатом переплете с ленточкой-закладкой. Это был роман Набокова «Дар». Да, это был *дар*. Я читала книгу медленно, боясь, что она кончится. Читала, празднуя каждое слово, каждое сравнение, каждую строчку небывалой прозы. И, странное дело, хотелось срочно начать писать. Бывают великие таланты, которые подавляют: зачем писать, когда уже такое написано. Меня всегда подавлял Блок. Подавлял Мандельштам, которого я запоем читала в середине семидесятых. При чтении Набокова возникало ощущение неисчерпаемости Слова, Жизни и человеческих возможностей. После «Дара» я прочла «Другие берега», затем рассказы. И во всем, что читала, даже не в лучших вещах, находила крупницы золота. Как я завидую тем, кому еще

только предстоит прочесть: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час».

Отголоски его прозы долго жили в моих стихах:

...Колыбель висит над бездной, /  
И качают все ветра /  
Люльку с ночи до утра... /  
Сполз с поверхности земной /  
Край пеленки кружевной».

И еще:

Есть удивительная брешь /  
В небытии, лазейка меж /  
Двумя ночами. Тьмой и тьмой...»

Я сейчас снова открыла «Дар» и не могу оторваться: удивительное сочетание стремительности и обстоятельности, легкости и внимания к подробностям. А главное, необычайная новизна, свежесть языка, где все слова, будто только родились. Вот кусочек прозы о главном герое, который провел утро в постели, пытаюсь писать стихи: «В полдень послышался клюнувший ключ, и характерно трахнул замок: это с рынка домой Марианна пришла Николавна (дивная инверсия — Л. М.). Шаг ее тяжелый под тошный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку с продуктами. Муза Российския прозы, простись навсегда с капустным гексамером автора «Москвы». Стало как-то неуютно. От утренней емкости времени не осталось ничего. Постель обратилась в пародию постели. В звуках готовившегося на кухне обеда был неприятный упрек, а перспектива умывания и бритья казалась столь же близкой и невозможной, как перспектива у мастеров раннего средневековья. Но и с этим тоже придется тебе когда-нибудь проститься...

...Стихотворное похмелье, уныние, грустный зверь...»

При чтении этих слов возникает чувство, что ты присутствуешь при сотворении мира, и трудно поверить, что мир, который столь конкретен, осязаем и зрим, творится лишь с помощью слов.

Вот строки о предчувствии свидания с любимой: «Ожидание ее прихода. Она всегда опаздывала — и всегда приходила другой дорогой, чем он. Вот и получилось, что даже Берлин может быть таинственным. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего на тумбе пробегает, как соболь пробегает через пень. За пустырем, как персик, небо тает: вода в огнях. Венеция сквозит, — а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена».

Этот небывалый набоковский мир — плоть от плоти традиционной российской словесности, имеет с ней единое кровообращение и общую дыхательную систему. Этот мир — не результат отрицания, ломки, разрушения традиций. Он при всей ошеломляющей *новизне* возник в том же доме, но на ином этаже, куда, перелетев через несколько лестничных пролетов, попал автор.

«От жажды умираю над ручьем», — вот что я испытывала при чтении «Дара». А через год я узнала его стихи. И впечатление от лучших стихов было столь же сильным, как от прозы. Поэт Набоков гораздо открытее, ранимее Набокова-прозаика, которого

часто обвиняют в холодности, высокомерии. Если говорить о его вершинах (а лишь по ним и стоит судить о писателе), то не миф ли его холодность? Можно ли, будучи холодным, так тосковать по России, так поклоняться Пушкину, так боготворить отца, так чувствовать природу, так любить женщину?

Набоков многих шокирует, так как он не *comme il faut*: смеется над тем, над чем смеяться не положено, говорит о том, о чем принято молчать. Но из-за непредсказуемости его следующего слова и возникает состояние невесомости, как при падении в воздушную яму, когда невольно восклицаешь: «Ах!»

Говорят, что писатель, прозаик боится белого листа, тянет время, не желая садиться за работу. Мне кажется, что Набокова белый лист притягивал, как магнит, что писать было для него наградой, праздником, великим счастьем, сладкой неизбежностью. И читать его — счастье.

Близкое чувство я испытала при чтении Синявского (Абрама Терца). Особенно его книги «Голос из хора», написанной в мордовских лагерях.

Вот послушайте: «Угостили медом. Какой у него витиеватый вкус и сколько вложено в эту зернистость, в сверкающую плотную вязкость всякого ума и таланта из полосатых пчелиных пузичек, из цветов и воздуха! Мед для нашего рта все равно, что благоуханное лето, лес в красках и пение птишек. Все напихано сюда и все сгустилось в один эликсир жизни».

Это же стихи. Вслушайтесь в звучание слов: ВитиеВатый ВкуС, ЗерниСтоСТЬ, Сверкающая Плотная ВяЗкость, Полосатых Пчелиных Пузичек, Благоуханное Лето, Лес, эЛиксир...

То, что я хотела бы сказать об этой прозе, сказал сам автор: «Появилось странное чувство романтической я бы сказал увлекательности ложки масла, ломтика сыра. Они стекают в тебя и всасываются мгновенно, без остатка, кажется, еще не успев доползти до желудка. Переваривание и всасывание в кровеносную систему начинаются где-то под языком, в пищеводе, и с одного небольшого куса пьянеешь и оживляешься беспредельно. Причиной тому чистота и изысканность продукта». Точно так же, «переваривая и всасывая без остатка» каждое слово, я «пьянела и беспредельно оживлялась» при чтении этой книги. И причина тому — чистота и точность слова, отношение автора к обыденному и ничтожному, как к драгоценному. «Закон Робинзона Крузо», — сказано в книге.

Я написала уйму стихов, читая «Голос из хора». И подумать только, что такой импульс давали строки, рожденные в неволе.

«Книги похожи на окна, когда вечером зажигают огонь, и он теплится в воздухе, поблескивая золотыми картинками стекол, занавесок, обоев и какого-то невидимого снаружи, запрятанного в сумрак уюта, составляющего тайну его обитателей... Задача иллюстрации (чуть не вырвалось — иллюминации) состоит в поддержании света, источаемого непрочитанной книгой. Бессильная имитировать текст, ненужная в виде хромого истолкователя слов, сказанных прямо, иллюстрация призвана возвестить о празднике, с которым является книга в нашу жизнь...

Искусство творить предвкушение, заманивать в гости, снаряжать в путешествие по чудным буквам. Ведь картинки мы смотрим, еще не читая книги, лишь приглядываясь к тому, как она мерцает».

Читая эти строки, я невольно вспоминаю, как в детстве любила читать и нюхать книгу, как подробно до каждой мелочи, помнила иллюстрации, как мой сын изучал билибинские сказки, медленно переводя взгляд с одной картинки на другую.

Люблю начало речи плавной,/  
Причуды буквицы заглавной, /  
С которой начинают сказ: /  
«Вот жили-были как-то раз...» /  
Гляжу на букву прописную, /

Похожую на глушь лесную: /  
Она крупна и зелена, /  
Чудны зверьем заселена. /  
«Вот жили-были...» Запятая, /  
И снова медленно читаю: /  
«Вот жили...» И на слово «Вот» /  
Опять гляжу, разинув рот».

Книга Синявского, изданная в Лондоне в 1973 году, лишена картинок, да и не нуждается в них. Роль художника, о которой так романтично говорит Синявский, выполняет сам автор. Я вижу все, о чем он пишет. Мне бы даже помешали иллюстрации, навязав какое-то другое видение. Слово Синявского — пластично. Оно имеет вкус, запах и цвет. И это роднит его с Набоковым.

«Голос из хора»: поводом для праздника становилось все, что угодно: случайная фраза, услышанная мелодия, цвет неба, запах травы. Как же это может быть? Ведь я читаю записки заключенного. Автор сам отвечает на этот вопрос: «Вероятно все дело в пространстве. Человек, открытый пространству, все время стремится вдаль. Он общителен и агрессивен, ему бы все новые и новые сласти, впечатления, интересы. Но если его сжать, довести до кондиции, до минимума, душа, лишенная леса и поля, восстанавливает ландшафт из собственных неизмеримых запасов. Этим пользовались монахи. Раздай имение свое — не сбрасывание ли балласта?

Не отверженные, а погруженные. Не заключенные — а погруженные. Водоемы. Не люди — колодцы. Озера смысла...»

Сколько же успел передумать и перечувствовать человек за шесть лагерных лет. И как он щедро одарил своего читателя! По-моему лучше Синявского о роли художника и не скажешь. В своих размышлениях о Свифте Синявский говорит: «Открытие Свифта, принципиальное для искусства, заключалось в том, что на свете нет неинтересных предметов, доколе существует художник во все впереяющий взор с непониманием тупицы».

Эта книга заставляет жить медленнее, напряженнее и внимательнее. Недаром Синявский то и дело возвращается к разговору о детстве и детском чтении, детских книгах, о замедленном темпе жизни: «Большие буквы в детских книжках располагают к проникновенному чтению. Помню, как перейдя на мелкопечатный шрифт, я грустил по большим буквам, которыми так глубоко читались первые книги. Это было какое-то чувство утраты, потери — переход на взрослый язык». Я читала эту книгу «глубоко» и медленно, как в детстве.

Ритенуто, ритенуто, /  
Дли блаженные минуты, /  
Не сбивайся, не спеши. /  
Слушай шорохи в тиши. /  
Дольче, дольче, нежно, нежно...  
Ты увидишь, жизнь безбрежна /  
И такая сладость в ней... /  
Но плавней, плавней, плавней.

Вся моя жизнь — постоянный ликбез. Окончив институт иностранных языков, я обнаружила, что не знаю английского, и начала спешно его учить. К тридцати годам поняла, что не знаю истории, и принялась читать исторические книги, труды античных и христианских авторов, книги по восточной философии. И всё же, спустя годы, могу сказать то же, что Сократ: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Правда, на этом и

кончается мое сходство с Сократом. Тем более что мой уровень «незнания» иной, чем у него.

Но я пишу не просто о чтении, а лишь о том чтении, которое давало творческий (ненавистное слово) импульс. О тех книгах, которые поражали словесной тканью. Поэтому я не называю здесь множества книг, сыгравших огромную роль в моей жизни и перевернувших душу. Не пишу и о поэтах, которых читала в переводе, так как никогда не знала, кто мне нравится — автор или переводчик. Мне кажется, что оригинал отличается от перевода, как живая птица от чучела. Я понимаю, что это очень субъективный подход. И, тем не менее, не люблю читать переводных стихов. Писание стихов — интимнейший процесс, где слово не равно самому себе. Оно живет в особой среде, в окружении, созданном всем сказанным и несказанным. Оно живет среди звуков и пауз, в строке и между строк. И если мысль, изреченная даже на родном языке, есть ложь, то переведенная на чужой и подавно. С прозой это может быть иначе, но со стихами... Впрочем, не буду настаивать. Говорю только о себе, объясняя почему я пишу только о русских поэтах. Мне кажется интересным проследить, что было кормом для души, взрослевшей в конце пятидесятых, начале шестидесятых, когда многие славные имена находились еще под запретом или только-только начинали звучать; когда классика XIX века была заформулирована и разложена по полочкам в школьном учебнике Флоринского. Когда о Серебряном веке многие и слыхом не слыхивали.

Пробуждаясь к жизни, я выбирала из того, что было на слуху, и влюблялась в своих избранников безоглядно. А позже появились «сам» и «тамиздат». Круг чтения расширялся. И сейчас, когда наконец прорвало, и читатель буквально сбит с ног и заверчен потоком хлынувшей литературы, выяснилось, что я почти все прочла в годы «вечной мерзлоты». Тем и жила. Но как я рада, что прочла все это не сейчас, а тогда, когда, получив драгоценную книгу, могла утащить ее в свою берлогу и, не спеша, не отвлекаясь, вкушать. Что же это за страна такая: «разом пусто — разом густо». Ведь где «густо», там и «пусто», потому что душа меру знает и больше меры воспринять не может. И проходят удивительные вещи незамеченными. Так, я думаю, по-настоящему не прочтен Набоков. Его время не настало. Но оно настанет, благо он разрешен и издан.

Как бы то ни было, я с благодарностью вспоминаю тех, кто вдохновлял и будоражил, радовал и окрылял все оттепельные и застойные годы, как их принято теперь для краткости именовать. Слава Богу, в России всегда были таланты.

Я долго «носила» с первой книгой Олега Чухонцева, сделав в ней уйму закладок, которые почти вросли в книгу:

Я был разбужен третьим петухом,  
Будильником, гремучими часами,  
Каким-то чертом, скачущим верхом/  
На лошади, и всеми голосами...»  
«И, пытая вечернюю тьму,  
Я по долгим гудкам парохода,  
По сиротскому эху пойму,  
Что нам стоит тоска и свобода...»

Прочтя книгу Кушнера «Канва», я написала ему длинное письмо. Письмо писалось светлой июньской ночью и столь же вдохновенно, как стихи. Очнувшись, я увидела, что оно состоит из строк Кушнера и моих междометий. Письмо я всё же отправила, чтоб куда-то деть эмоции. Слава Богу, Кушнер письма не получил, вовремя поменяв квартиру.

Давным-давно на заре туманной юности я побывала у Михаила Светлова, к которому меня послала Лидия Борисовна Либединская, прочитав мои робкие стихи. Светлов, назвав меня «старой большевичкой» и посетовав, что ношу не «славянскую»

фамилию и что печататься мне будет трудно, дал один очень дельный совет: «Стихи, как любой роман, должно быть интересно читать. Пиши интересно».

К сожалению, я не выполнила завета. Мой младший сын считает, что пишу я скучно и всегда об одном и том же. Устами младенца...

А говорю я все это потому, что Кушнер пишет как раз так, как советовал Светлов — интересно.

Прозаик прозу долго пишет,/   
 Он разговоры наши слышит,/   
 Он распеваете с нами чай,/   
 При этом льет такие пули/   
 При этом как бы невзначай/   
 Глядит, как ты сидишь на стуле...»

А вот еще:

Эти сны роковые — вранье,/   
 А рассказчикам нету прощенья!/   
 отому что простое житье/   
 Безутешней любого смещенья./   
 Ты увидел, когда ты уснул,/   
 Весла в лодке и камень на шее,/   
 А к постели придвинутый стул/   
 Был печальней в сто раз и страшнее/   
 Потому, как он косо стоял, — /   
 Ты б заплакал, когда б ты увидел, -/   
 Ты бы вспомнил, как смертно скучал,/   
 И как друг тебя горько обидел...»

Но, кажется, я увлекаюсь и снова начинаю переписывать стихи Кушнера.

Непонятно, почему одни стихи вдохновляют на собственное творчество, а другие, отнюдь не худшие, а иной раз и лучшие, мешают писать. Я почти не знаю стихов наизусть. Наверное, это защитная реакция организма. Гораздо больше, чем поэзия, будоражат, раскрепощают и помогают писать, развязывая язык, смежные искусства: музыка, живопись, книги о музыке и живописи. Был незабываемый год, когда я жила Ван Гогом: его картинами, книгами о нем, перепиской с братом. Вдохновившись живописью и личностью Ван Гога, я написала кучу стихов. Стихи были плохие и ушли в корзину, но одно, написанное много позже, осталось:

Еще холстов, холстов и красок,/   
 Для цветowych, бесшумных плясок,/   
 Еще холстов, еще холстов/   
 Для расцветающих кустов/   
 И осыпающихся снова,/   
 Для неба черного, ночного,/   
 К утру меняющего цвет.../   
 Еще холстов, и сил, и лет».

Не могу равнодушно смотреть на полотна Борисова-Мусатова. Даже на бледные копии с его картин. Хватательный инстинкт велит что-то срочно предпринять, чтоб удержать любимое. Вот я и расставляю словесные сети:

Осыпаящийся сад /  
И шмелиное гуденье. /  
Впереди, как сновиденье, /  
Дома белого фасад. /  
Сад, усадьба у пруда, /  
Звук рояля, шелест юбки... /  
Давней жизни абрис хрупкий, /  
Абрис зыбкий, как вода, /  
Лишь в душе запечатлен. /  
Я впитала с каплей млечной /  
Нежность к жизни быстротечной /  
Ускользящих времен...»

И такую же потребность поймать, удержать вызывают у меня картины Марка Шагала и Зинаиды Серебряковой. Их живопись — это детская улыбка на сумрачном лице века. Еще более мучительное томление духа испытываю при слушании музыки. Одним из самых сильных впечатлений было знакомство с последней сонатой Бетховена в исполнении Юдиной. Тогда же я прочла «Доктора Фаустуса» Томаса Манна и была ошарашена конгениальным описанием этой сонаты в лекции Кречмара. Было наслаждение слушать музыку и читать о ней точные, пронзительные строки Томаса Манна: *«...а потом настает момент, обостренный до крайности, когда кажется, что бедный мотив одиноко, покинуто парит над бездонной, зияющей пропастью — момент такой возвышенности, что кровь отливает от лица, и за ним по пятам следует боязливое самоуничижение, робкий испуг, испуг перед тем, что такое могло свершиться. Но до конца свершается еще многое, а под конец — в то время, как этот конец наступает, — в доброе, в нежное самым неожиданным, захватывающим образом врываются мрак, одержимость, упорство. Долго звучащий мотив, который говорит «прости» слушателю и сам становится прощанием, прощальным зовом, кивком, — это ре-соль-соль претерпевает некое изменение, как бы чуть-чуть мелодически расширяется. После печального до он, прежде чем перейти к ре, вбирает в себя до-диез, так что теперь пришлось бы скандировать уже не «синь-небес» или «будь-здоров», а «о ты, синь-небес!» «будь здоров, мой друг!», «зелен дольний луг» — и нет свершения трогательнее, утешительнее, чем это печально-всепрощающее до-диез. Оно как горестная ласка, как любовное прикосновение к волосам, к щеке, как тихий глубокий взгляд в чьи-то глаза. Страшно очеловеченное, оно осеняло крестом всю чудовищно разросшуюся композицию, прижимало ее к груди слушателя для последнего лобзанья с такой болью, что глаза наполнялись слезами: «по-за-будь печаль!» «Бог велик и благ!» «Всё лишь сон один!» «Не кляни меня!» Затем это обрывается<sup>2</sup>.*

«Глаза наполняются слезами» не только при слушании Бетховена, но и при чтении этих строк. Томас Манн совершил невозможное: дал словесную запись труднейшей сонаты. Я читаю его текст как партитуру. Читаю и слышу звучание конкретной музыкальной фразы. Это чудо. Прочитанные строки отозвались в моих стихах через много лет:

Мой любимый рефрен: «Синь небес, синь небес»./  
В невесомое крен, синевы перевес/  
Над землей, над ее чернотой, маетой,/  
Я на той стороне, где летают. На той,/  
Где звучит и звучит мой любимый напев,/  
Где земля с небесами сойтись не успеет,/

---

<sup>2</sup> Перевод С. Апта. — *Авт.*



Разошлись, растеклись, разбрелись, — кто куда.../  
Ты со мною закинь в эту синь невода,/   
Чтобы выловить то, что нельзя уловить,/   
Удержать и умножить и миру явить.

Эти, лишённые четкого жанра записки — попытка объясниться в любви тем книгам и людям (пишу только об ушедших, потому что о живых писать трудно), которые сопровождали и вели меня, ещё незрячую или едва прозревшую.

Пишу о времени, когда я могла сказать о себе словами Заболоцкого: «Как все меняется и как я сам меняюсь./ Лишь именем одним я называюсь...»

О тех годах, «куда (лучше Рильке не скажешь — *Л.М.*) каждое простое событие вступало словно в сопровождении ангела».

О тех годах, когда мною владело счастливое чувство пути, о головокружительных временах, когда писала:

Лететь, без усталости скользить  
По золотому коридору.  
И путеводна в эту пору  
Осенней паутины нить.  
И путеводен луч скупой,  
И путеводен лист летучий  
И так живётся, будто случай  
Уже не властен над судьбой...»

*Январь - февраль 1990*